

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ

ЧЕТВЕРГЪ, 15 ДЕКАБРЯ 1938
JEUDI, 15 DECEMBRE 1938

НОМЕРЪ
ВО ФРАНЦІИ **80** cent

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ П. Н. МИЛЮКОВА
Quotidien Russe "LES DERNIERES NOUVELLES" Directeur P. N. MILIOUKOV

LE NUMERO
EN FRANCE **80** cent

ЧЕТВЕРГЪ, 15 ДЕКАБРЯ 1938
JEUDI, 15 DECEMBRE 1938

№ 6471

19^e
ANNEE
347

ABONNEMENT AUX "DERNIERES NOUVELLES"
(Partant du 1^{er} et 16 de chaque mois)
ПОДПИСКА ЦѢНА НА "ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ"
(съ 1-го и 16-го каждого мѣсяца)

	1 мѣс.	3 мѣс.	6 мѣс.	1 годъ
Во Франціи	19	54	108	200
За границей	38	100	190	365
Перемѣна адреса — 1 фр.	Changement d'adresse — 1 fr.			

Полночная приписка въ Конторѣ газеты
и въ ее отдѣленіяхъ, а также въ почтовыхъ
отдѣленіяхъ
Цѣна 14 въ Парижѣ и провинціи — 80 сантим.
За границей — 1 фр. 80 сантим.
Пріемъ объявленій въ Конторѣ газеты

On s'abonne aux Bureaux du Journal
et dans tous les Bureaux de Poste
La semaine: Paris et Départements . 30 s.
Etranger . 1 fr. 30 cent.
Annonces: aux Bureaux du Journal

ADRESSE DE LA REDACTION ET DE L'ADMINISTRATION
Адресъ Конторы и Редакціи
51, Rue de Turbigo, 51 — Paris III. (Métro: Arts et Métiers)

Телефонъ редакціи TURBIGO 51-52
конторы ARCHIVES 55-00
отд. объявленій TURBIGO 51-20; 51-31
Мѣстной телефонъ редакціи (соедѣл. 9 час. вечера):
PROVENCE 78-17

Телеграфный адресъ Adresse télégraphique
DERNOUVED PARIS 03

№ 6471

10-ЛѢТІЕ
ИЗДАНІЯ
347

Литературные замѣтки

О Чеховѣ. — Н. А. Тэффи: «О нѣжности». Изд-во «Русскихъ Записокъ». 1938.

Надъ этими строками слѣдовало бы написать: «въ дискуссионномъ порядкѣ». Въ нихъ утверждения смѣшаны съ сомнѣніями, и выводы завершены не точно, а вопросительнымъ знакомъ. Предметъ сомнѣній — Чеховъ, имя настолько всѣмъ дорогое, что осторожность необходима.

Чехова никто изъ русскихъ никогда, кажется, не приравнивалъ къ величайшимъ нашимъ писателямъ, къ Толстому, Пушкину, Гоголю, Лермонтову, Достоевскому. Если это порой дѣлали иностранцы, мы въ отвѣтъ снисходительно улыбаемся, — какъ неизмѣнно улыбаются французы, когда мы говоримъ: Бальзакъ, Стендаль, Мопассанъ. Размахъ у Чехова безпорочно не тотъ, не та глубина, и не та сила! Но мы охотно допускаемъ, что чистота и правдивость у него тѣ же, и даже, можетъ быть, что чистоты и правдивости у Чехова больше, чѣмъ у нѣкоторыхъ изъ тѣхъ, великихъ, напирѣвъ, у Гоголя или Достоевскаго, похожихъ на огромный, стремительный, мутный потокъ. На чемъ основанъ всемірный престижъ русской литературы? Въ доброй своей части именно на вѣрности тона, на томъ, что еще Воюа называлъ «мученическимъ терпениемъ», — и Чеховъ въ этой области, казалось, одинъ изъ первыхъ. Катринъ Мансфильдъ, тоже одна изъ такихъ «мученицъ», чуть не плакала, слушая русскую рѣчь, — потому что на этомъ языкѣ говорилъ Чеховъ. Моруа, человекъ совсѣмъ другого склада, отзывался о Чеховѣ приблизительно въ томъ же духѣ... Недавно мы праздновали юбилей Пушкина. Въ разнообразныхъ попыткахъ объяснить иностранцамъ, что такое Пушкинъ, чѣмъ онъ отличенъ отъ всѣхъ другихъ поэтовъ въ мірѣ, мы тщетно на всѣ лады повторяли слова «чистота», «простота», «скромность», «правдивость», «стройность», и чувствовали невозможность доказать величіе Пушкина, голословность нашихъ восхищеній для собесѣдника. Миѣ лично пришлось какъ-то услышать въ отвѣтъ восклицаніе: «Такъ, значить, это, какъ у Чехова?». Да, да, какъ у Чехова, — хотѣлось тутъ же радостно согласиться; потому что уже было за что

зацѣпиться въ дальнѣйшемъ разговорѣ. — Хотя сразу разверзлась и бездна: Пушкинъ и Чеховъ, — Боже, какъ разжижено у одного все, что такъ ясно и твердо у другого; Боже, какое измѣлчаніе! Но возникъ мостикъ къ Пушкину, — и ужъ это было хорошо.

Часто бываетъ, что нѣсколько случайныхъ впечатлѣній — будто по чьему то плану, — сливаются въ одно, бьются, такъ сказать, въ одну точку. Въ послѣдніе дни такой точкой оказался Чеховъ. Первое впечатлѣніе — на литературномъ вечерѣ А. Ф. Даманской.

Вышелъ извѣстный артистъ, и, не называя автора, сталъ читать рассказъ объ извозчикѣ, у котораго умеръ сынъ. Съ интересомъ всѣ прислушались къ первымъ строкамъ: что это, чье? Конечно, классиковъ полагаются помнить, но что дѣлать, съ памятью не справишься, и случается иногда, что не знаешь, кому приписать стихъ изъ «Онѣгина»! Миѣ сразу показалось — Чеховъ, но черезъ полминуты я самъ же и возмущался такимъ предположеніемъ: какая фальшь, какая трескучая сентиментальщина, не можетъ быть, чтобы это былъ Чеховъ! Этотъ старый ваника, своего рода, «отзвонившій звонарь», эти его бесѣды съ лошадыю, эти сѣдоки, демонстративно — безчувственные къ отцовскому горю, эти словечки, шуточки, прибаутки, — все это будто картинка съ Передвижной выставки, мило — реалистическая, слащавая, невѣрная, почти корябая... Невозможно объяснить, что такое фальшь, — но когда слышишь ее, невозможно ее и заглушить чѣмънибудь. Въ исторіи съ извозчикомъ, формально очень искусной, она рѣзала ухо въ каждой строкѣ. А вѣдь оказалось — Чеховъ, — да еще не какой-нибудь завалящій, второстепенный, а одинъ изъ знаменитѣйшихъ чеховскихъ рассказовъ — «Тоска».

Другое впечатлѣніе — «Вишневый садъ». Долженъ признаться, что драма дѣйствуетъ и въ нѣкоторыхъ сценахъ вызываетъ то «коллективное» волненіе, которое одно только и дѣнно въ театрѣ: каждый безотчетно знаетъ, что его чувства раздѣлены

всѣми, и оттого глубже отзывается, щедрѣе рукоплещетъ. Поэтическая прелесть замысла, его сущность, его грусть и лиризмъ не поблекли нисколько. Но сколько досаднаго остроумничанья въ діалогахъ, и какъ вообще подозрителенъ этотъ юморъ, приходящійся, когда его не ждешь, будто автору чего-то стыдно, и онъ самъ надъ собой усмѣхается! Бытовой и словесный нарядъ пьесы не вполне соответствуетъ ей духу, онъ со всѣми своими «недотенами» гораздо условнѣе, мельче. «Si tu n'es qu'un parfum, sors de la triste fleur». Почему то все время вертелся у меня въ головѣ этотъ стихъ въ продолженіе четырехъ дѣйствій «Вишневаго сада». Лицо Германовой — Раневской какъ бы вторило ему, и глаза ея глядѣли куда-то дальше тѣхъ словъ, которыя она произносила по тексту. Кстати, роль Раневской — вѣроятно, одна изъ самыхъ трудныхъ въ европейскомъ репертуарѣ, именно изъ-за привкуса фальши въ ней, и потому, что большая актриса должна и можетъ эту ее черту «переплавить» въ своею огнь, Дузэ хотѣла играть Кручинину изъ «Безъ вины виноватыхъ», и не обратила вниманія на Раневскую, можетъ быть, просто не зная «Вишневаго сада», а роль вѣдь была бы совсѣмъ по ней! Раневскую первой изъ всѣхъ сыграла Книпперъ... и тутъ, назвавъ это имя, мы переходимъ къ третьему впечатлѣнію.

Письма Чехова къ женѣ давно извѣстны. Но вотъ, совсѣмъ недавно въ «Новомъ Мірѣ» появилась новая порція ихъ. Нѣкоторые изъ нихъ были перепечатаны въ нашей газетѣ... Конечно, по частнымъ письмамъ — или, вѣрнѣе, на основаніи частныхъ писемъ, мы не въ правѣ судить человека. Въ сущности, мы не должны были бы ихъ и читать, пока не пройдетъ, по крайней мѣрѣ, «срокъ давности»! Но разъ они обнародованы, разъ мы ихъ прочли — какъ воздержаться отъ сужденія? То, что они для печати не предназначались, лишь увеличиваетъ ихъ свидѣтельскую цѣнность. Пушкинскія письма къ Натальѣ Николаевнѣ тоже вѣдь не предназначались къ печати, и по двойственно — шутивому тону письма Чехова отчасти ихъ напоминаютъ. Но у Пушкина въ письмахъ — та же безупречность звука, что и въ стихахъ. Не говоря ужъ объ умѣ, всюду сверкающемъ въ нихъ, самый ихъ эмоциональный или словесный составъ удивителенъ и непогрѣшимъ. Ни одной ужимки, абсолютная непринужденность, которой все доступно и все позволено. Толстовскія письма сѣрѣе,

но зато всегда, въ каждомъ словѣ, серьезны, озабочены, будто человеку некогда попросту болтать или шутить... А у Чехова: «актриса, опять у тебя мерехлюндія?», «любимая моя женщина, здравствуй!», — «цѣлую моего балбесника», «собака, миѣ грустно безъ тебя»... Да, это писано не для печати, писано «съ глазу на глазъ». Не слѣдовало бы этого читать! Но характерно, что книгу хочется скорѣе закрыть, будто мы читаемъ что-то унижительное для Чехова, — не потому, чтобы онъ не долженъ былъ называть жену «балбесникомъ» или «собакой», а потому, что во всемъ складѣ этихъ посланій есть что-то смущающее, почти жалкое.

Не собираюсь, конечно, «переоцѣнивать» Чехова, какъ художника. Но, перечитывая сейчасъ его сочиненія, сомнѣваюсь: дѣйствительно ли онъ именно правдивостью воспріятія жизни особенно силенъ? У Чехова вводѣтъ въ заблужденіе и подкупаетъ вышняя анти-романтичность, анти-ходульность матеріала. Люди все самые обыкновенные, эпитеты намѣренно — тусклые, развязки подчеркнута — прозаическія. Какъ будто онъ развивается въ этомъ пушкинскія, и отчасти гоголевскія, традиціи. Но нельзя же не видѣть, что есть разница между литературной оболочкой и сущностью творчества, нельзя же всякую вышнюю скромность считать результатомъ какой-то борьбы и преодоленія. «Боязнѣ фразы есть тоже фраза», — замѣтилъ однажды Тургеневъ. Въ старческомъ «Хаджи-Муратѣ» настоящей простоты неизмѣримо больше, чѣмъ въ рассказахъ Чехова, и Толстому не нужны были никакія декорации хмурости, обиденности и повседневной жизненной скуки, чтобы это ощущеніе вызвать. Чеховъ же именно драпировать, декорировать что-то, можетъ быть, не столь правдивое и чистое, какъ намъ казалось. Въ этомъ смыслѣ онъ, вмѣстѣ съ Горькимъ и, пожалуй, даже Леонидомъ Андреевымъ, отрывается отъ прошлаго русской литературы, и, самъ того не сознавая, переходитъ къ тѣмъ темнымъ и тонкимъ тропинкамъ, на которыхъ она блуждаетъ до сихъ поръ.

Кое въ чемъ Бунинъ свободнѣе его. И, конечно, — Блокъ. Но это уже другая тема.

Тэффи — едва ли не самый наблюдательный изъ нашихъ писателей. Если при-мѣнять къ кому-нибудь стереотипное критическое выраженіе «зоркіи глаза», то лучше всего къ ней. Отчасти, можетъ быть, на

этомъ и основана ее популярность: каждый читатель и думаетъ: «вѣрно», «а вѣдь въ самомъ дѣлѣ такъ», «странно, я до сихъ поръ этого не замѣчалъ» — и вмѣстѣ съ Тэффи по-новому глядитъ на все то, что его окружаетъ.

Въ сборникѣ «О нѣжности» наблюдательности столько, что можно было бы составить по этой книгѣ длиннѣйшую таблицу психологическихъ или бытовыхъ открытій автора. Но названіе сборника какъ бы предупреждаетъ, что главное въ немъ не бытъ и не психологія, а отношеніе къ міру. Въ названіи — цѣлая программа, родственная верленовскому восклицанію: «de la douceur, de la douceur, de la douceur!».

Тэффи съ исключительной остротой чувствуетъ противорѣчіе, которое существуетъ между неумолимымъ движеніемъ жизни — и болью, возникающей при этомъ въ отдаленныхъ сознаніяхъ. Итъ художника, который былъ бы такъ равнодушенъ ко всякимъ отвлеченнымъ идеямъ, къ прогрессу, къ правамъ государства и общества, — и итъ художника, который согласенъ былъ бы, какъ она, въ любую минуту броситься на защиту какого-нибудь, попираемаго «колесами исторіи», существа, — и даже если исторія спитъ, и просто-напросто хнычетъ какая-нибудь несчастная старая дѣва или млучить голодный котенокъ, она готова вдохновиться, воспламениться, и приняться иносказательно, образно доказывать, что никакой будущей «гармоніей» нельзя оправдать нѣсколькихъ «слезинокъ», по знаменитому карамазовскому сопоставленію. Это, собственно говоря, не доброта, — и я не увѣренъ, что Тэффи съ ее безпощаднымъ юморомъ (вспомнимъ, хотя бы, рассказъ о старухѣ въ богатырѣ, помещенный въ «Послѣднихъ Новостяхъ» недѣли двѣ тому назадъ) — можно было бы назвать добрымъ писателемъ. Это, скорѣе, обостренное чувство конкретнаго, осязаемаго, осязаемаго, близкаго — въ противоположность тому, что ей кажется схемой, фикціей. Человѣкъ страдаетъ реально, все же остальное неуловимо, и что бы ни происходило въ мірѣ, все разлетается, какъ брызги, въ мпаліонъ мельчайшихъ, индивидуальныхъ отзвуковъ. Для Тэффи существуютъ только брызги, — и оттого въ ее книгахъ жизнь представляется будто подъ микроскопомъ: общіе очертанія нѣтъ, зато мельчайшія клѣточки ткани ясны, какъ нитѣ.

«О нѣжности» — почти безконечная панорама въ иллюстраціи къ основному положенію. Тэффи не агитируетъ, не проповѣ-

дуетъ, а рассказываетъ. Но всякій пойметъ, на какой стержень нанизываютъ она случаи за случаевъ.

Лена, маленькая пятилѣтняя дѣвочка, снесла картонаго слона и положила ему подъ хоботъ огрызокъ прищипки. Старшая сестра подсмотрѣла, разбросала игрушки, и принялась хохотать. У Лены въ глазахъ, отчаяніе, испугъ, она плачетъ, бьетъ сестру, и говоритъ шепотомъ: «Не смѣй, не смѣй надъ нимъ смѣяться!».

Въ санаторіи подъ Парижемъ лѣчится старикъ. Жена его только для него и живетъ, ловитъ каждое его слово, угадываетъ малѣйшее желаніе. Вообразивъ, что его развлекаютъ крестословницы, она заранѣе рѣшаетъ ихъ, чтобы въ нужный моментъ придти ему на помощь. А онъ вдругъ кричитъ:

— Никогда я этимъ не интересовался. Никогда! Это ты лѣзла съ упорствомъ дегенерата... Идиотка!

У женщины въ пасхальную ночь родился ребенокъ, родился раньше срока, параликомъ, калѣкой. Проживъ шесть лѣтъ, онъ умеръ. Съ посторонней точки зрѣнія, смерть его — избавленіе, милость Божья. А мать говоритъ:

— Такого ума и у взрослого не сыщешь! Все-то понимаетъ, все чувствуетъ! Ужъ такой другъ, такой другъ, что не понимаю, какъ я безъ него на свѣтѣ жила!

У другой женщины — дочь Рюля, съ милостивымъ лицомъ, но съ уродливой фигурой. «Почему вашу дочь зовутъ Рюля? — спрашиваетъ кто-то. — Мы думали, что это сокращенное отъ кастриана». Взырнула мечтастъ стать артисткой. Мать суетится, мучается, всѣмъ надѣдается, всѣхъ изводитъ, на репетиціяхъ танцуетъ вмѣсто дочери, — и не понимаетъ, какъ это другіе не видятъ, что ее Рюля красавица, талантъ, совершенство.

И такъ далѣе, и такъ далѣе. О животныхъ, о дѣтихъ — обо всемъ очень умно и мѣтко, чуть-чуть устало, съ той торопливостью, которая нерѣдко именно усталостью бываетъ продиктована, со стремленіемъ непремѣнно договорить все, что сказать хотѣлось. При всей горечи отдаленныхъ сценъ и характеристикъ, книга какъ бы вся пронизана благодарностью за жизнь, за самый фактъ ее, ни съ чѣмъ несоизмеримый, за то, что она для кого то была, для насъ есть, для другихъ будетъ — и ей нѣтъ конца.

Георгій Адамовичъ.